

Дорога запетляла между холмами, проскочила кустарник и вздыбилась, взлетая на крутой берег. Там, вверху, деревня. Небольшая. Это раньше она была огромная. Улицы, словно паутина, расползались, пересекая друг друга. Дома где хотели, там и ставили хозяева. Где-то кучкой, чуть ли не вплотную друг к другу, а в другом конце разбросаны, до соседа не докричишься. В общем, хмельная деревня, и название подходящее — «Пьяновка».

Отдуваясь, Алексей поднялся в гору и, не выдержав, присел на большой валун, отполированный за многие годы такими же путниками, как он сам. Лешка достал бутылку газировки. Открыл. Пена рванулась наружу, обливая руки и колени. Чертыхнувшись, сделал глоток. Поморщился. Слишком сладкая вода. Отмахнулся от мухи, которая назойливо лезла в бутылку, почувствовав сладкое. Закупорил и опять в рюкзак. Закурил. Посмотрел на деревню. Когда-то была огромная, а сейчас всего ничего. Мало осталось местных жителей, зато много понаехали дачников. Выкупают дома, загораживаются высоченными заборами, нанимают рабочих и грохочут, выстраивая огромные многоэтажные особняки. Зимой еще можно терпеть этих дачников, но наступает весна и с утра до вечера по деревне орет музыка. Некоторые отдыхающие вытаскивают столы во дворы и шумно начинают отмечать начало дачного сезона и побег из осточертившего города. Другие, почувствовав непреодолимую тягу к земле, видят, зов предков, ползают на карачках, грядки готовят, восторженно воркуют над цветочками, а когда солнце в зените, так начинают тенек искать, чтобы передохнуть от трудов праведных. А другие, самые бесстыжие, так и фланируют по улицам в плавках да купальниках — ниточка там, ниточка здесь, и с зонтами в руках — солнечные ванны принимают, заходят в сельмаг и устраивают дефиле вдоль прилавка, своим видом вгоняя в краску местных жителей, которые начинают матюгаться и гро-

зят собак спустить с цепи, встречая голопупых в магазине или на узких деревенских улочках. Ну, совсем обнаглили, срамники!

Похоронив мамку, отца уж давно отнесли на мазарки, Лешка долго не раздумывал, быстренько продал свой просторный дом с большущим садом и огородом, с теплым сараем да с банькой по-белому, забрал свои манатки и смотался в город, где купил тесную угловую комнатушку в старом крупнопанельном доме — улье, по-другому никак его не назовешь, где круглосуточно ходили, бегали, кричали, жужжали за стенами пчелы-соседи. Купил квартиру, но так и не привык к культурно-шальной городской жизни, где все несутся, сломя голову, куда-то торопятся, толкаясь и ругаясь, а наступает вечер, мчаться в магазины, и с полными авоськами опять бегут по улицам, улочкам и переулкам, исчезают в подъездах, и начинается жужжение. В общем, суета, да и только. Поэтому в любое свободное время он собирался и отправлялся в родную Пьяновку. На могилки ходил — родичей проводывал, да забегал к соседу, к старику, с кем любил посидеть возле речки, неспешно покуривая крепчайше-едучий самосад, аж дыхание перехватывало, послушать, как переговариваются речные перекаты в ночной тиши, поглядеть на звездные россыпи, да перебраться парой слов, ну, если не лень будет, конечно.

Лешке нравился стариик, интересный — этот дон Кихот, как его прозвал, когда в школьной библиотеке взял книгу о знаменитом иdalго, а там были рисунки, словно его соседа нарисовали. А Дульсинеей стала жена старика, баб Дуся, по-нашенски. Стариик — высокий и нескладный, под два метра, не менее, с бороденкой клинышком, длинные усы торчали в разные стороны на худом лице, не вниз свисали, а именно в стороны, густые бровищи над глазами, и смотрит устрашающе, в коротковатых штанах зимой и летом, в рубахе до пупа расстегнутой, где видны были выступающие ребра и черная нить с образком на впалой груди. Но главное — это характер. Вдрызг мог разругаться с местным начальством, а бывало и с приезжими, постоянно лез в драку, чтобы встать на защиту угнетенных деревенских жителей — Лешка всегда смеялся над ним. Стариик никого и ничего не боялся, но в то же время всех уважал, любил и любого готов был защищать. Всегда хмурый, взгляд презлющий, а чуть копнешь, поймешь душу его, и сразу хочется защитить стариика. Безобидный он — этот дон Кихот. Только с виду грозный и устрашающее пыхтил, а внутри мягкий и добрый. Хороший стариик, правда, если найдешь с ним общий язык.

Дон Кихот радовался, когда Лешка приезжал. Радовался, но виду не подавал. Наоборот, хмурился. Взглядит из-под кустистых бровей, покрутит длинный ус, потом медленно, с расстановкой буркнет: «Аль-Ешка прикатил», а сам вытянет полный кисет и протягивает — угощает, и снова повторяет — уже мягко, по-доброму: Аль-Ешка. Почему так называл — Алексей не знал, но ему нравилось.

Он взглянул на солнце. Высоко стоит. Жарко. Алешка заторопился. Подхватил сумку с гостинцами и пустился направки к далекому дому, который выделялся своей ярко-красной пожарной крышей. Издалека видна, как и развивающийся красный флаг на коньке крыши. Не промахнешься, ну, если в пьяных улочках не заблудишься. Хоть Аль-Ешка и вырос здесь, но не стал рисковать, чтобы по улицам добираться, а, подхватив сумку, помчался по тропкам, одному ему известным. Остановится, осмотрится и опять скрывается в кустах или переулках. И вот добрался. Распахнул калитку, смотрит, Дульсинея цыпляток кормит: «Цыпа, цыпа, цыпа», а дон Кихот сидит на крылечке, прислонился к перильцам, и пыхает своим самосадом. Все, как всегда, все, как обычно.

— Аль-Ешка прикатил, — взглянув из-под бровей, буркнул старый иdalго и, выудив из глубокого кармана полный кисет, протянул. — На, закуривой.

Сказал, словно и не расставались.

— Проходи, Алешка,— баба Дуся вытряхнула остатки корма, поправила белье на веревке и стала подниматься по ступеням.— Подвинься, старый. Выставил свои ходули — ни пройти, ни проехать. В кровь расшибешься, ежли зацепишься,— привычно заворчала Дульсинея и скинула глубокие галоши.— Ишь, надымили, куряки, хоть топор вешай. Ну-ка, хватит рассиживаться. Марш в избу, чай будем пить. Самовар вздула.

И тоже — будто Алешка на пять минут выходил и вернулся.

После неторопливого просмотра гостинцев, всплескания руками, оханья и аханья, с виду недовольного ворчания, а на деле — обрадовались, что не забывает стариков. Наглядевшись, принялись торжественно раскладывать на полках шкафчика, и в столе: мешочки, кулечки, коробочки и баночки. Потом уселись просто попить чаек: свежие огурчики, с десяток яиц на тарелке, краснели помидорки, желтела картошка, и зеленел пучок лука, еще в каплях воды, а рядышком высилась горка нарезанного хлеба — пахучего, вкусного, домашнего. Алешка принюхался и вздохнул. В городских магазинах не найти такой хлеб — это хлеб из далекого прошлого, из детства, где и сухарь сладок, и простая карамелька была шоколадной.

А потом, когда вволю надулись чаю, не слушая ворчания Дульсинеи, старый идальго натолкал в кисет самосаду, прихватил газетку, проверил спички в кармане и они пустились к речке. Отправились на речную косу, где разросся густой ивняк. Где было старое костище да два больших валуна, на которых они посиживали, когда Алешка приезжал в Пьянкову, где у него никого не осталось, кроме старого идальго с его Дульсинеей, бабой Дусей, да родителей на кладбище.

И они уходили на берег, сидели на плоских больших валунах. Разводили костер, и вовсю пыхали крепким едучим самосадом. Алешка похвастался, достал и угостили идальго импортными сигаретками в яркой разноцветной пачке, которые специально купил для старика, но тот покрутил в руках, кое-как вытянул одну корявыми пальцами, прикурил, натужно закашлялся и, поморщившись, небрежно бросил в костер.

— Одно баловство, и не более,— насупив густые брови, буркнул дон Кихот и стал сворачивать толстущую цигарку.— Городские сигаретки для городских вертихвосток. Вот, на-кося, Аль-Ешка, нашенский табачок покури,— и опять протянул кисет.

Алешка закурил. Вкусно, запашисто, аж дух захватывает — хорошо!

— Глянь-ка, это ты плывешь,— затянувшись, буркнул Кихот, и клочки дыма повисли на длинных усах, и кивнул на сухой лист, что медленно кружился на воде.— А вот и я вслед за тобой показался,— и ткнул в темную щепку, что мчалась по течению, то исчезая, то показываясь на поверхности.

— А куда плывем? — покосившись, сказал Алешка.

Старик помолчал. Потом опять ткнул.

— Туда плывем. Жизнь — это река,— и клочья дыма запутались в ветвях кустарника.— А все, что на поверхности — это люди: молодые и старые, хорошие и плохие, но люди. И куда человека занесет, с кем он встретится в пути или исчезнет, словно его никогда не было — это никому неведомо, а знает лишь она — река жизни.

Так, по-философски, объяснил Кихот. И замолчал, продолжая рассматривать реку. Наверное, что-то искал в жизни, что проносилась перед глазами, или вспоминал прошлое.

Все может быть. Алешка не стал спорить. Они приходят сюда, чтобы посидеть, подумать и заглянуть в свои души, а если повезет, увидеть и почувствовать реку жизни — это главное, а остальное — пустяки, на которые стараешься внимания не обращать, да и время жаль истратить.

Забумкало — это на противоположной стороне взревела музыка в машине. Мог

лодежь, извиваясь, похватали стаканы с выпивкой. Не чокаясь, выпили, опять налили и снова выпили, и продолжали извиваться под музыку. Жарко. Девки разнагищались. Совсем. Наплевали на всех и вся, и устроили стриптиз на берегу реки. Парни гоготали, наблюдая за ними, как они елозили по машине, стонали, готовы на все, лишь бы удовлетворить свою похоть. Один не выдержал. Схватил девку и в кусты потащил. Вскоре вернулся, поправляя узкие модные плавки. Следом появилась деваха, ладощкой вытерла губы, опрокинула стакан и опять стала извиваться. Парни загоготали.

Откуда-то донесся долгий мат. Наверное, деревенские заметили стриптиз на берегу. Девок словно подстегнули этими матюгами. Они стали еще быстрее и сильнее извиваться. А парни еще громче загоготали и потянулись к стаканам. Второй не выдержал, подхватил ту же девчуху, и они торопливо скрылись в кустах. Прошло несколько минут. Голая девка вышла на полянку. Потянулась, тряхнула уже обвисшей, далеко не девичьей грудью, качнула бедрами, не поморщившись, неторопливо выпила, а потом прижалась к дверце и заелозила по ней — кошка мартовская.

Попыхивая, дон Кихот внимательно смотрел на них. Думал. Оглянувшись, подобрал камень и бросил в воду.

— Это они,— сказал старик.

— Правда? — Алексей искоса взглянул на идальго.

— Сердце — вешун,— затянулся старый идальго, и дым повис на ветвях.— Жизнь не любит таких.

— Понял,— сказал Алешка, взял кисет и заглянул внутрь.— Много еще. Мало выкурили.

— День долг для одних,— задумчиво сказал старик,— но короток для других.

Придерживая большим и указательным пальцами толстую цигарку, попыхивая клубами едучего дыма,— Лешка не курил, так, пыхал вовсю, чтобы ощутить горьковатый привкус, чтобы запах почуять,— обожал дедовский самосад! А потом, обжигаясь, выбрасывал окурок в костер и снова тянулся к кисету.

Так было принято у них. Давно. Они собирались и уходили к реке. Курили самосад. Смотрели на костер, на речку и думали. Изредка перебрасывались словами, а если вели разговоры, то так, ни о чем. Да и зачем говорить, если с полувзглядом понимали друг друга. Им было хорошо возле реки, в одиночестве. Нет, это не было одиночеством. Вокруг был мир: огромный, необъятный, красивый, но со своими законами, которые все должны исполнять. И они придерживались этих законов. Сидели, любовались окружной. Смотрели по сторонам и заглядывали внутрь души, стараясь разобраться и понять себя и других. И думали. У дон Кихота это лучше получалось. Он дольше живет на свете. Много повидал.

Темнело. «Бум, бум, баух!» — ревела музыка, и доносились пьяные крики. Парни швыряли бутылки в реку — реку жизни. Так, словно свои годы выбрасывали. «Бух, бух, баух!» Десять, двадцать, пятьдесят лет утонуло, или стерто — никто не знает — знает река жизни. Матюгаясь, полуоголых девок затолкали в машину. Следом забрались сами. Рывками, надрываясь, машина стала выбираться на дорогу. Опять забумкало, потом наступила тишина.

Стемнело. Старик поднялся. Вытащил из кустов припрятанную старую банку и набрал воды в речке. Принялся заливать костер. Пламя фыркнуло, взметнулось и зашипело, разбрасывая сотни искр. И в черном небе полыхнул звездный пожар. За мелькали звезды на воде, захороводили на бормочущих перекатах и помчались вдаль по ночной реке.

— Айда,— буркнул старый идальго.— Нам тоже пора. Дуся заждалась.

Дульсинея сидела на крыльце.

Едва они приблизились, баба Дуся махнула рукой.

— Парни с девками разбились на машине,— она качнула головой.— Пьяные вусмерть. Там, с Чертового моста, улетели в пропасть. Никого не спасли. Машина всмятку и они тоже.

— Я говорил, такие долго не живут,— старый идальго стал медленно подниматься по ступеням.— Дураки,— сказал он и со злостью, громко, несколько раз повторил, ударяя кулаком по перилам, словно вбивал слова.— Дураки, дураки, дураки!

— Какие не живут? — взглянула Дульсинея.

— Такие, как они,— буркнул дед и взглянул на Аль-Ешку.

Они поняли друг друга.

Пьяная молодежь стерла свои годы в реке жизни.

Прикрыв окно,— похолодало, и задернув занавески, баба Дуся собрала на стол. Потом долго сидели и пили чай. Пили неторопливо, вприкуску, шумно отхлебывая, и молчали. Каждый думал о своем, но в то же время думали о жизни. Хрустели караульными, размачивали каменное печенье, прислушивались к голосам за окном. Вон взревела машина и рванула с места. Видать, кто-то еще решил стереть свои годы в реке жизни.

Алешка поднялся и направился на веранду, где всегда ночевал, когда приезжал к старикам, но Дульсинея показала комнатку, где он переночует. Впервые пустили туза. А сейчас разрешили — почему? Маленькая комнатушка: щелястый стол возле окна, тетрадка и карандаш валяются на столе, в углу старая прогнутая кровать с двумя плоскими подушками, а возле изголовья была табуретка, чтобы стакан воды поставить или книжку на ночь почитать. И все. Это вся обстановка. Нет, еще на стенке висели два листка с детскими рисунками и поблекшая фотография парня. Что-то неувядимо знакомое мелькнуло в его чертах, словно с ним встречался, а где — этого не мог вспомнить. Алешка долго ворочался. Думал. В ночи раздался протяжный кошачий ор. Разодрались, территорию не поделили, а может, кошку. Чертыхнувшись, Алешка усился на кровати. Не спалось. Походил по комнате, шлепая босыми ногами. Постоял возле фотографии. Потом набросил рубаху на плечи и вышел на крыльцо.

Поглаживая бородку — клинышком, дон Кихот сидел на скамейке, вытянув длинные ноги, и попыхивал едучим самосадом. Покашливал, что-то бормотал, кому-то грозил скрюченным пальцем, и опять мелькал огонек цигарки: зло, протяжно, искаристо.

Шлепая по голым ляжкам, отгоняя комаров, Алешка присел рядом.

— На, покури,— старый идальго вытащил кисет, газетку и спички и положил на скамью.— Штаны бы надел. Увидят, сраму не оберешься.

— Темно ведь,— сказал Алешка, но постарался прикрыть рубахой ноги.— И никого не видно.

— Ну и что,— не поворачивая головы, буркнул дед.— А вдруг подойдут, а ты, нате вам — голышом. Стыдобище-то какое!

— Ну и что? Дачникам можно, а мне нельзя, да?

— Нельзя, ты здешний,— пыхнув едким дымом, аж искры полетели в разные стороны, сказал старик.— А дачники — срамники. Им можно, тебе — нельзя.

— Хорошо, но сначала покурю,— сказал Алексей.

Курили долго. Комаров стало меньше. Может, от едкого дыма, может, ветерком отогнало. Старик принес кружку с водой. Выдули. И снова потянулись к кисету. Сворачивали цигарки и дымили, чадили, пока в горле не стало першить.

— Что за фотка на стене? — наконец спросил Алексей.— Лицо знакомое, а не могу понять, где виделись.

— Ты не видел его,— помолчав, сказал идальго.— Не мог видеть.

— А кто это? — кивнул Алешка.

— Это Коленъка, наш сынок,— задумавшись, медленно буркнул дон Кихот, дернул себя за бороденку, и вдруг торопливо заговорил.— Понимаешь, Аль-Ешка, вот сегодня увидел парней с девками, узнал, что разбились, улетели с этого Чертового моста, и вот тут загорелось,— он постучал по впалой, тощей груди.— Так заболело, хоть волком вой, хоть об стену головой, лишь бы унять эту боль, но не получится. Она всегда и навсегда останется с нами. Мы переехали сюда, чтобы рядышком с ним быть. Здесь погиб наш сынок,— стариk замолчал и зло нахмурился.— Мне рассказывали, что они выпили после работы. Его, как самого безотказного, посадили за руль, а сами в кузов забрались. Они-то выпрыгнули, когда машина пошла юзом в пропасть. Все выскоили! А наш не успел. Он, герой, машину спасал. Так и ушел вместе с ней на самое дно. Взорвалась машина. Пока мужики спустились, пока добрались, все горной рекой смыло, лишь одни железяки валялись. Ничего не осталось. Ни кусочка! Даже похоронить нечего было. Словно его вообще не существовало. Просто взял и исчез. Все! Вот и получается, что одним стаканом перечеркнул реку жизни. Одним! И где он покоится, где нашел последнее пристанище, куда его унесло за эти годы — неизвестно. Знает лишь она — река жизни, но мне не говорит, хотя каждый раз прошу, когда сижу на берегу,— и дон Кихот замолчал, подергивая длинные усы и запыхал — долго, густо и ожесточенно.

Алешка тоже молчал. Потом поднялся. Ушел в комнатку. Завалился на продавленную кровать и долго лежал, вспоминая дон Кихота, думал, почему так получилось, что его сын, Колька, перечеркнул реку жизни, он же мог спастись. Думал про него, про его короткую жизнь, о рассказе иdalъgo... Да обо всем думал, а потом заснул. Крепко уснул. Но утром, когда они позавтракают и переделают кучу дел по хозяйству, что скопилась, пока его не было, вновь пойдут с дон Кихотом на речку, оставив Дульсинею дома. Долго, до ночи, будут сидеть на берегу, попыхивая едучим самосадом. Вести разговоры ни о чем. Но больше будут молчать и думать о жизни, и смотреть за звездами, что хороводят на темной поверхности реки, а потом несутся куда-то вдаль, чтобы исчезнуть с рассветом. И опять постараются заглянуть в свои души, а если повезет — в души человеческие, и вновь повидают реку жизни.